

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



42-Й ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

ФАНЕРКА

Наш дом стоял буквой “Г” и в его углу, в закутке располагался глухой внутренний двор, куда выходило моё окно. Если смотреть из окошечка, то прямо была стена Гипрожира, справа — терраска наших соседей тёти Ксени и дяди Гриши, а слева — противопожарная кирпичная стена. Всё забрано встык — собака не пробежит.

После Нового года под стену за сугроб кидали старые ёлки. Мы прыгали на них со стены, как на пружинный матрац, — на две-три ёлочки, жухлые, сквозистые, осыпающиеся. Раз после прыжка меня лихо откинуло и шарахнуло затылком о стену, так что после лежал в кровати час или два с головной болью. Этот подзатыльник отправил меня по кругу — вскоре я так же породнился с острым штукатуренным углом нашего подоконника. Заигравшись, споткнулся и упал на самую грань — пришлось под рот, меж губой и подбородком. Пробил о зубы подгубье, так что, если отвернуть изнанку, белел шрам. Я его всем показывал. Потом о стену Гипрожира ссадил руку. Одна тёти Ксенина терраска меня не тронула.

Окошечко моё, оконце, око несмыкаемое... Чего оно только не видело, не слышало... Окна Гипрожира весной открывались, и оттуда нёсся стук

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, затем охотником. В 1991 году закончил Литинститут им. А. М. Горького. Автор книг “Стихотворения”, “За пять лет до счастья”, “Замороженное время”, “Енисей, отпусти!”, “Тойота-креста”, “Избранное”, “Сказка о Коте и Саише”. Главный редактор альманаха “Енисей”. Живет в с. Бахта Красноярского края.

печатных машинок, мягкий, шепчущий, летучий. Я потом не один год его изображал, поднося к уху ладонь и шевеля пальцами впритирочку. С другой стороны дома через дорогу был магазин “Напротив” с деревянной скрипучей дверью, её мерная песня неслась из-за спины дома и так же питала мои ранние времена, как шелесток машинок.

С улицы сквозь дом во двор шёл коридор. Из магазина “Напротив” по нему проходили тройками знающие дядечки. Стучали в окошко: “Стаканчика не найдётся?” Стаканчик тут же выдавала бабушка, и между дядечками и бабушкой какой-то стоял договор. Дяденьки были в чёрном, в кепках, худощавенькие, маленькие, добрые и какие-то предельно измочаленные. Когда их изношенность совмещалась с водочкой, они ещё добрели морщинками. Раз тётя Ксения вынесла им солёные огурчики, умудрившись угостить и нас с Мишкой Кузнецовым. Мишка громко грыз огурец, и так щурился и вслушивался в хруст, словно ради него и грыз. Сок тёк по губам и подбородку и ел губы. Кроме маленького и крепкого огурца, нам достался большой и будто разрезанный внутри. Мишка грызнул и соком попал мне в глаз. Мужички засмеялись, а один сказал: “Ты как снайпер!”

Дяденьки очень быстро выпивали бутылочку, возвращали стакан и уходили, и в этой деловой, закругляющей резкости ухода было что-то особое — будто они не для себя делали, а *вообще* — для дела. Рассчитывали, что водочка ещё долго будет работать на остаток дня, и просто проболтать в разговоре её действие — не по-хозяйски.

Окошком я глядел бессменно. Как-то соседи, муж с женой, лыковой мочалкой мыли собаку, добермана-пинчера по кличке Эра. На улице было прохладно, начало весны, когда особенно остро воспринимаешь именно прохладу, холодок. Эра была короткошёрстная и вызывала зябкость, а тут и вовсе в мыле стояла, дрожа и встречно упираясь телом, когда её проглаживали мочалкой, и я шкуркой чувствовал, как ей стыло на этом ветерке. Она была в жёлтой пене, видимо, так отмывались собачьи грязи.

Тётя Ксенина терраска глядела многооко на дворовую жизнь. В мелкое окошко терраски в ту пору были обычны и в деревне, и в городе. Мне нравился их переблеск, отражающий взгляд, отчего нутро казалось ещё таинственней. В деревне переплёты встречались чаще голубые, а та терраска тускло рыжела, сплетённая в квадрат и ромбик. Тётя Ксения с дядей Гришей жили укрмно, дядя Гриша незаметно терраску пристроил, и была у него швейная машинка по коже. Втихушку он шил на ней кожаные пальто на заказ.

Мишка Кузнецов жил на втором этаже и был моим первым в жизни другом. Однажды мы с ним кидались камнями. Я занимал позицию возле терраски лицом к нашим окнам, Мишкина же линия обороны пролегла от меня метрах в восьми. Кидались мы некрупным щебнем, жёлтоватым в ржавчинку, и хотя никому не доставалось по большим местам, был и азарт, и та ровная и жаркая наполненность игрой, которая царила в нашем детстве, полном жизненных и трудовых игр. Всё шло прекрасно, как вдруг у Мишки что-то стряслось с траекторией: камень ушёл в сторону терраски, и, не задев переплёта, пробил стекло и точно попал в трёхлитровую банку с тети Ксениными солёными огурцами.

Я испытывал и восхищение проделкой, и гордость за Мишку, и зависть к его ухарству, но Мишка, побелев, сказав делово: “Пойду доложу” — и убрался домой. Штабная оперативность этого “доложу”, смелость не скрывать поступок ещё больше вознесли в моих глазах Мишку, и я ждал, пока он разделается с докладом и вернётся. Он так и не пришёл, а я томился, пока с работы не воротилась тётя Ксения — с сумочкой, в очёчках и рыжем пальтишке, в котором она походила на туго набитого воробышка. Я независимо прогуливался по двору и сказал: “А Мишка Кузнецов окно разбил”. И не сбавляя неторопливого шага, прошёл по своим надобностям. Понял ли я, что предал напарника? Если и да, то чуток: я ещё не ведал, что есть товарищество.

День завершался. Я думал, что разразится какое-то наказание, и понимал, что это наше общее с Мишкой преступление. Что нас за шиворот вытасшат на двор, позовут взрослых, и нам не только, как говорила бабушка,

“всыпят”, а будет ещё что-то общественно-тошное. Потому что грудка огурцов с осколками и лужей больно жалкая для игры картина. И было желание, чтоб уж поскорей грянуло.

Ничего не грянуло. Я играл дома, когда со стороны терраски раздался скучный и размеренный звук ножовки. Я замер, не доходя окошка: дядя Гриша допилил фанерку и вставил на место выбитого стекла. Небольшой, сухощавый, вечно в чём-то чёрно-сером и кепке.

Потом, когда дядя Гриша заболел и умер, его несли мимо моего окна. Не то на рассвете, не то в скрипучих зимних сумерках, не то сумрак тёмно-синие стоял в смятенной моей душе. Свернувшись зверьково, глядела она в синее оконце, а само оконце сжалось до форточки, до зрачка-хрусталика, и ещё резче выступили в нём чёрные фигуры и то горизонтальное, что они несли. Отчаянно противилась душа первому гробу, восставала, кричала: “Нет!” — заставляя детское существо неестественно бодриться и едва ли не веселиться, доказывая, что смерть неправда.

Кроме случая с фанеркой, ничего не помню о дяде Грише. Если тётю Ксеню хоть как-то представляю с её воробышковым видом и авоськой морковки, то что могу сказать о нём? Какую птицу он напоминал рядом с ней? Возможно, маленького грача в чёрной кепке. И очень походил на мужичков, просивших стаканчик, был одной с ними колодки. Такой же невысокий, будто ужавшийся окопно, в синеглаженном пиджачке ли, драповом пальтишке с проступившей ёлочкой, в чёрно-серой измызанной робе... Несгибаемый гвоздок под шляпкою-кепкой. Сколько их тогда во дворах было — при лопате, молотке, ножовке...

Как ни силось, не вспомнить лица. Не то детский взгляд не добивал до второстепенных героев моей жизни, не то настолько размыто обобщён его лик, что и доселе множится в глазах послевоенный измученный мужичок.

ЁЛКА

В предновогодние дни кто хлопотал по дому, а я занимался округой. Играл под вечер долго и рьяно, до жаркого пота, до жгучей и шершавой шапочной сырости на лбу. Жужжал машинно до слюнной брызги, нарыл серпантинных в сугробном склоне, нор каких-то синих, капониров для танков, целое дорожное хозяйство. На такой крутизне и перегон техники с подарками, и просто поездка — работа, а уж что о тоннельном деле говорить! И снег может просыпаться, если близко к вершине возьмёшь, и светлинка загорится в потолке пещерки. Но в том и мастерство...

Пришлось для порядка и самому с верхотуры съехать, не там, где норы, конечно, а сбоку. Съезжал внимательно, спиной чувствуя сугроб, хоть и глядел на карниз. Конечно, ничего не успел — побежал домой за Никитками, и был схвачен бабушкой. Никитки — близнецы, резиновые медвежата свистковые. Коричневые. На холоде деревенели, но от них и не требовалась мягкость. Хотел в тоннель посадить на охрану. Ладно, завтра посажу. Еле пережил ночь. Утром быстро-ради-дела съел кашу с рассветным маслом-солнышком и на улицу с Никитками к солнышку-маслу... А там ни следа моей инженерии.

“Чёртов Васька!” Как я ярился, как орал — наверное, самая сильная вспышка за детство. Какое возмущение, какая ненависть к порядку так называемому! Каким он лживым, фальшивым гляделся! Каким зверством и произволом по отношению к личному! Ничего не осталось. Не просто заровнял, а именно порушил, уничтожив и приподножное, равнинное, так сказать, хозяйство. А сугроб, главное, ещё выше вывел, и аккуратно загладил крахмальное изваяние. Довершило, что бабушка, которой я со всем доверием вывалил негодование, была почти “за Ваську”.

Дядя Вася — наш дворник. Внешностью он напоминает дядю Гришу или мужичков, что забегают с бутылочкой и просят стаканчик. Тоже некрупный, недоевший, недобравший жирка-запаса. Если дядя Гриша и тройные стаканчики чёрные, то дядя Вася коричневый, как лёгкая вытертая куртка.

И кепка из того же теста. Если те обобщённые, как путевая бригада, то дядя Вася явный, знакомый. На кого похож? Трудно сказать... Может, отдалённо на Чапаева, но безусый и ещё более скуластый, с тем же знакомым сходом в щёчную впалость. Глаза сильные, большие, и брови, надбровные дуги ярые. И какая-то задиристость, требовательность в лице. Может, и скандальность. В движениях — развалочка. Если у дяди Гриши и тройных мужичков была кротость, ласковость, то дядя Вася требовал несбыточного — порядка. Прибирал наш двор, паковал сугробы, метал их, как стога-зароды, оглаживал, завёршивал — не иначе крестьянское нутро и зимой по покосу тосковало. И сыпалась синяя крошка по крахмальному боку, и дядя Вася подскребал её, как мучицу, и на спину зароду закидывал, и бока гранил, и особенно текучими были именно последние эти шершавые струйки. Чем меньше остаётся на полу, тем труднее подобрать, мучица множится, не добрать до конца. Особенно скупо и пустынно выглядит подножие сугроба.

Снега было много в те годы, и кроме нашего внутреннего двора, дядя Вася огребался и на уличной стороне. Часть собирал в сугробы в проулке, часть — вдоль Первого Щиповского, а часть длинным движением лопаты подавал на дорогу, где её размалывали колёса. Дворники были в каждом дворе, и цепочка сугробов тянулась по всему переулку. Их собирала снегоуборочная машина, и я любил на неё смотреть.

Машины эти все называли “автопогрузчиками”, а недавно оказалось, что правильное название трудовой этой железяки “лаповый снегопогрузчик С-4”. Жаль, что мы с бабушкой не знали, — тёплое и звериное название наверняка её бы порадовало. Четырёхколёсный агрегат на основе грузовика с одноместной будочкой, смещённой к боку. И на плече наклонно — балалайка, жёлоб с лентой, похожий на гриф с ладами. Он ещё и подломлен по корпусу. Балалайка — она же челюсть-лопата с бортиками. В лопате две локтястые ручищи, крутятся на двух дисках, диски заподлицо с лопатным дном. Загребущие лапы грабастают снег необыкновенно одушевлённо, а сзади пятится самосвал, и в кузов с грифа сыплется снег, то кускастый и грязный, то, наоборот, чистый до синеватой крахмальности. Бабушка терпеливо стоит рядом, а я пожираю глазами ручищи автопогрузчика, которыми он загребаёт снег в широченную челюсть. Самосвал пятится, то ударяя в погрузчик, то приотставая — “ЗИЛ-164”, зелёный, но не болотный, как бабушка называла хаки, а тёмно-зелёный, будто подсинённый.

Завидя автопогрузчик, я замедлялся, якорно тянул бабушку за руку и вставал, а она ждала, пока насмотрюсь. Очень хорошо помню эту терпеливость — и вынужденную, и признающую важность происходящего. Так ждут, когда ребёнок наестся.

Рука у бабушки худощавая, и я чувствовал её будто древесную силу — и сухую, и тёплую. Рука вообще витое место — и сучок, и развилка, и точка крепости. В нашем ручном замке вечно шла борьба. Бабушка то поджимала, то приотпускала, а я то вырывался, то пытался в бабушкину ладонь вложиться поудобней. Едва устрою плотвичку ладони, и бабушка подладится встречно, найдёт самое ухватистое место, тотчас рыбка извернётся или, сложившись лодочкой, раздаст бабушкину руку и отвоюет свободного хода.

У автопогрузчика я выходил из замка и маячил особенно отдалённо. Снег увозился машинами, и я почему-то думал, что его высыпают где-то за городом. Однажды мы с бабушкой гуляли по набережной между огромным высотным зданием и Москворецким мостом. Стояли неморозные дни с обвальными снегопадами. И вода в Москве-реке чёрная и сизо-пятнистая от шути.

То, что я увидел, заморозило меня сильнее, чем лаповая работа снегоуборщика. К невысокому каменному парапету, пятясь, подъехал самосвал со снегом. Из кабины, открыв дверь и став на подножку, высунулся водитель и, глядя на кузов, начал его поднимать. Снег поначалу держался, а потом мешаниной кусков и сыпучих прядей нарастающе постепенно и мощно сыпался в воду. Водитель опустил кузов, но ему показалось, что прилипли остатки снега, и он ещё раз откинул его, грохотнув, а потом, медленно опускаемая, отъехал от берега. Пока я, открыв рот, смотрел на него, на набережной появилась вереница одинаковых тёмно-зелёных самосвалов. Друг за

другом они пятились и сбрасывали снег с высокого берега. А потом образовалась целая шеренга пятиющихся машин, которые почти одновременно остановились у края каменной пропасти и скинули кузова. Снег могучей лентой сыпался в тёмную реку и оказывался неожиданно плавучим, не пропитываясь водой, а только нарастал глыбистыми горами и медленно сплывал по течению. Вместе со снегом из кузова упал камень и плыл черновиной вместе со снежной грядой.

Темнело. Трудно затлев и отдрожав, зажглись синие и холодные неоновые фонари, а грузовики тянулись по набережной, пятились и, вздымая кузова, сбрасывали груз в речную пропасть. На чёрной зимней воде в сиянии фонарей сыпанщина снега особенно ярко и близко светилась рубленным белком. О чём думала бабушка в тот темнеющий час?

Последний самосвал завершил грозное своё дело, и мы отправились на трамвай. Всё краснее и ярче горели огни на высотном здании со шпилем, мощно чернеющим на фоне подсвеченного неба. Его мглистый силуэт, гнутая линия реки, обросшей домами-утёсами, подчёркивали налитые силой названия: Котельническая набережная, Краснохолмский мост, Большой Каменный. Колокольня Ивана Великого и купол Архангельского собора сияли поразительно зеркально, словно натёртые шлифовальной пастой — зелёной купоросной пылью. Внемасштабность циферблата на Спасской, сходство луковок с ёлочными шарами потрясало и обращало город в бескрайнюю детскую. Бабушка сказала, что в войну купола соборов укрывали, чтобы они не светились во время ночных бомбёжек. Это ещё раз доказывало удивительность их свечения — и великого, и беззащитного.

Предновогодним вечером мы подъехали на троллейбусе к самым кремлёвским воротам, к Кутафьей башне. Вместе с вереницей детей прошли в Кремль, где бабушка отдала меня устроителям ёлки, на которую у меня был билет. Стоял мороз. Сотни детей, густо дыша паром, столпились вокруг снежной площади с огромной ёлкой. Вышел рослый Дед Мороз в красной шубе и необыкновенно зычно поприветствовал, постучал посохом, а потом заозирался: “Как так — скоро Новый год, а у меня ни мешка, ни котомки. Дааа... была у меня волшебная котомка, да вот где она — ума не приложу...” И крикнул: “Ребята, где же котомка?” То ли ему кто-то подсказал из ребятишек, то ли он сам догадался: “У Снегурочки котомка! А где же Снегурочка?” Ну и, конечно, велел её звать. Целая площадь закричала: “Ау, Снегурочка!” — сначала нестройно, а потом слаженно, громко и эхово, с шумным придыханным нарастанием. Дед Мороз пошёл искать Снегурочку. Рядом с ёлкой стоял снежный домик. Оттуда раздался звонкий крик, и вышла Снегурочка в серебристо-голубой шубке с блестящими звёздами и волшебной котомкой в руке. Особенно мне запомнились её рукавички, тоже серебристые и в пушистой белой оторочке. Дед Мороз к этому времени незаметно исчез и теперь вышло, что уже Снегурочка его ищет.

Снегурочка перебегает по снежной площади, кругово озирается, приложив ко лбу козырёк из рукавички. Вдруг из снежного домика, вздымая чёрные руки-крылья, вырывается чёрная фигура. Лицо в маске и на голове клюв — это Чёрный Ворон. Самое страшное, что Снегурочка не видит, как он сзади подкрадывается, чтобы вырвать волшебную котомку. Он догоняет её, грозно вскидывая чёрные крылья и будто пытаясь её обнять-захватить, и вдруг совсем рядом со мной девочка истошно вскрикивает: “Ворон!” — и я, и кто-то ещё, и все мы подхватываем: “Ворон! Ворон!” Ворон вздрагивает, отшатывается. Снегурочка оборачивается, а Ворон, плавно кренясь, взмахивает крыльями, разворачивается и улетает. Снегурочка забывает об опасности, и Ворон снова её догоняет, и несколько сотен детишек снова кричат: “Ворон! Ворон!” — и Ворон снова разворачивается и улетает. На третий раз всё повторяется. Ворон идёт на четвёртый круг, но появляется Дед Мороз и, грозно вознеся посох, прогоняет Ворона.

Уже не помню, каким образом волшебная котомка обратилась в бездонный мешок и всем нам раздали подарки — красные пластмассовые шары на верёвочках, внутри — конфеты, игрушки. Ни конфеты, ни весь остальной праздник не поразили меня так, как наше вмешательство, изменившее ход

представления, большого взрослого дела. Ощущение единящей силы, которую мы испытали, выкрикивая это отчаянное: “Ворон!” — когда мы смешали, проломили действие, и этот незаконный прорыв жизненного в сказочное дал небывалый разряд правды.

Внутри Кремля луковки соборов будто отступили перед разгорячённой толпой детей и родителей. Когда отъезжали с бабушкой по Большому Каменному мосту, купола сияли таинственно-домашне, давая ощущение вхожести, естественной причастности к этим башенкам и елям. Они были одного с нами поля, не игрушечными, не сказочными, а такими же понятными и равными, как и мы с бабушкой.

Дома было по-праздничному чисто. Блестела шарами ёлка, у подножья под ветками стоял Дед Мороз с шапкой и воротом из белоснежной и будто запёкшейся ваты. Корочка с искоркой была особенно хороша. Засыпая, я видел зубчатые стены и протёртые луковки, и несомненность существования протирающей руки усиливалась с каждой предновогодней минутой. Казалось, именно она сеяла белую пыль над городом и укрывала купола, раскладывала подарки под ёлкой, а синим утром будила скрёбом скребка по льду, мерным звуком лопаты, сгребаящим снег под рассветным нашим окном.

АЛЬБАСТРА

— Не смей шляться на тот двор! — сказала бабушка, выпуская меня из дома.

Перед такими походами хоть на парад, хоть в музей, я должен был прогуливаться некоторое время, пока бабушка спокойно собиралась, настраивалась, а возможно, и пила чай. Я же отправился на Тот Двор, где шла стройка и каждый день появлялся какой-нибудь драгоценный материал.

Был цементный раствор, который мы называли “альбастрой”. На кирпич наносился шлепок альбастры, приглаживался горкой, в неё втыкалась палочка и получался танк. Откуда-то взялось ведёрко с солидолом, настолько похожим на блестящее повидло, что у нас головы закружились от такого богатства. Называли мы его “силидол”. Место буквально притягивало материалы, и как-то раз на повороте из грузовой машины выпала плита парафина — целую неделю мы плавили, топили, и он тёк струйками, подёрнутыми плёночкой сажи.

В предыдущий раз бабушка подзадержалась, настраивая душевные струны на поход в консерваторию. Любила ли она музыку, как любят иные, погружённые, одержимые и сыплющие названиями симфоний и ораторий, не знаю. Знаю точно, что уважала, как всё классическое, и стремилась образовать меня по всем правилам.

А я времени не терял и, перемахнув в проём на Тот Двор, обнаружил там Мишку Кузнецова и компанию коло бочки со свежайшим столярным клеем. Похож он был на “силидол”, такой же добротный и зовущий к употреблению. До сих пор помню своё бессилие — вижу великолепие материала, понимаю, что пропадёт, и не знаю, куда приткнуть, хоть ешь.

Выскочил я в единственном “приличном” кительке с большими боковыми карманами, куда бабушка всегда совала носовой платок. Швыркал я без конца, и она говорила: “Выбей нос”. Надыбав драгоценную бочку, я, зачерпнув пятернёй клея, засунул его в карман. Клей оказался тягуч и тошнотворно запашист. После я удовлетворённо вернулся на наш двор и ждал бабушку.

Наконец она вышла в чёрном пальто, в чёрно-синем берете с червячком и с дамской сумочкой под мышкой. Дамская сумочка — потёртый предмет с металлическим замком и ремешком, который бабушка складывала на верху сумки, как кнут. Бабушка называла сумку именно дамской, с той же почти улыбкой, как при слове “бокал”. Думаю, дамство ей претило и никак не пересекалось с “Севером” и “Прибоем”, которые она курила. Вид у бабушки был недовольный: в руках она держала забытое мной пальтишко.

В консерваторию у нас имелся абонемент, и мы туда ходили каждые выходные. В тот раз давали Сороковую симфонию Моцарта. Консерватория объёмно и гулко отзывалась на шорохи, шарканья, голоса. Иконостасно и трубчато сиял орган во всю стену, глядели портреты композиторов со стен: недовольный Бетховен с копной волос и забуддыжно-невьспатый Мусоргский. Мы сели в роскошные кресла, вышел дирижёр, совершенно непонятная для меня фигура, но с поразительными хвостами фрака, похожими на двух шивков. Началась музыка, требуя от меня невыносимого напряжения, входя трудно, волнами — то ложась на душу, то отдаляясь и предавая посторонним мыслям. Помню, я всегда светлел сердцем от звучания струнного оркестра, чистого, небесно-высокого и похожего на порыв ветра, клонящийся берёзы... Рояль же со светскими россыпями и капелью наводил грусть...

На волне очередного приближения симфонического смятения в берёзовых кронах бабушка спросила громким шёпотом: “Почему так воняет?” Я швыркнул носом и попытался виюхаться в музыкальные запахи консерватории — бабушка говорила, что смычки мажут канифолью. Бабушка рявкнула шёпотом: “Выбей нос! В кармане, невежа!” Я сунул руку в карман и едва не подпрыгнул, потому что рука влипла во что-то холодное, склизкое, а, главное, внезапное и потому страшное, потустороннее. Точно так же летом я забыл в кармане подборёзовик, а когда надел куртку через несколько дней — до слёз испугался.

Бабушка побелела и велела сидеть с рукой в кармане до антракта. Мы пошли в уборную, и там я освободил руку из клейкого капкана.

Концерт сопровождался ещё и лекторием, где тётянка в бледно-зелёном длинном платье рассказывала о музыке. Бабушка, напроць сбитая с ноты столярным клеём (“карман вырезать придётся!”), особенно раздражилась. Она терпеть не могла умных разговоров о музыке, особенно, когда к произведению притягивали образ. Приводила пример, как сыграли некий “Ручеёк”, и рядом сидящие дамы извощивались точностью передачи композитором бега ручья. Потом оказалось, что музыканты перепутали и сыграли вместо “Ручейка” “Шествие гномов”.

Зелёная дама вытащила на сцену девчонку моего возраста и одновременно знаменитую пианистку. Девочка долго и очень уверенно отвечала на вопросы зелёной дамы, а когда в завершение та спросила, что, по её мнению, главное в жизни, бросила небрежно: “Этэвить след в эскээствэ...” Бабушка фыркнула.

— Бабушка, а важно оставить след? — спросил я после концерта, чтобы хоть как-то выправить своё положение.

— Важно человеком быть! — отрезала бабушка.

Карман засох, и бабушка его вырезала. После этого случая я на всю жизнь запомнил Сороковую симфонию и заработал запрет на предподходные вылазки на Тот Двор.

У бабушки есть несколько слов, которые её сильнее всего выражают. Одно из них — “башмаки”. Не “ботинки”, а именно “башмаки”. Поначалу я пытался поддаться на блестящую гладь “ботинок”. Больно уж выражали “башмаки” какой-то связанный с бабушкой простой и беспощадный жизненный дрызг. Приятие холода, ветра, стыни. Нечто неприглаженное, требовательное, учащее выносливости и неприхотливости телесной и душевной и накрепко связанное с русским духом. Но довольно быстро почувствовал я силу именно *башмаков*, сначала из товарищества с бабушкой, а потом и нутром поняв их крепящую силу. Ботинки, ботиночки представлялись чем-то приличеньким, маменьки-сыночным, торчащим из-под глаженной штанинки, точнее, брючинки костюмчика. То ли дело *башмаки* — грубее, вернее, стариннее. Никакие дороги не страшны в башмаках.

— Не смей шляться на тот двор, — повторила бабушка, и я послушно кивнул, выбегая на дощатый пол длиннющего нашего коридора.

Был праздник. С самого утра в открытую форточку лилась песня и сиял небесный розовый свет. Праздник был редчайший, потому что к розовой музыке уготовили мне нежданную добавку — новые башмаки. Именно

виноват, что не жил здесь всегда, не делил зимы-вёсны... И я хоть и маленький, пятилетний, всё это чувствую... И все повторяют, что “смыло лавы” — низкие мостки через Москву-реку на столбах.

Дальше ярчайшим утром просыпаюсь в незнакомой комнате и вижу в окне яркий, лучисто-жёлтый свет солнца. И осознаю, что никто меня не будил, а я сам проснулся от полноты жизни.

Позже, лёжа на этой же кровати, я два раза испугался треска. Когда снаружи закоротило контакт на гусাকে у стены, и под резчайший стрёкот посыпались снопами бело-синие искры. И другой раз: лежал после обеда, и вдруг громкий и сухой треск раздался и тут же сыто перешёл в рокоток тракторного дизеля — наш хозяин дядя Паша завёл пускатом трактор-колёсник.

Дядя Паша был сухощавый, небольшого роста. Ходил без рубахи и в кепке: кисти в перчатках загара, такие же лицо, шея и под ней — красно-коричневый клин на груди. Белое в синеву туловище со впадиной, перехватом под грудиной в районе поддыха, и под ней — выступающий белый живот. На боку живота внизу рваный, изогнутый, с росчерком малиновый шрам — ударило вылетевшей доской на пилораме. Хромал — ранило на войне.

Выхожу во двор: забор, воротца, на столбе скворцы в скворечнике. Через улицу — луговина, поле и лес — вдали на пригорке. На луговине стреноженные кони с путами на передних ногах. Срывают траву с громким хрустом, и я не понимаю, чем они производят такой резкий звук, как будто крепчайшее полотно рвут. Конь обирает траву перед собой тщательным полукругом, голова двигается то правее, то левее, и хруст меняет тон: отдаляется, приближается. Время от времени то один, то другой отрывается от травы и, оглядевшись, перепрыгивает вперёд, высоко поднимая спутанные ноги. Этим движением он напоминает мне детских коников, их бодрое качание на полозьях, и большие живые лошади тоже кажутся частью детства, обстановкой, будто расставленной на лугах для подтверждения сказочности происходящего.

Луговина перед домом и на ней коровьи лепёшки — с мухами настолько рыжими, что кажутся подсвеченными солнцем. Бывает, сидят друг на друге, и я называю их “двухэтажными мухами”, а взрослые посмеиваются. На лепёшке блесит жёлтая дождевая лужица. Я зазёваюсь на коней и обязательно влезу сандалкой в лепёшку, и нутро лепёшки под корочкой окажется ярчайше-зелёным и остропахучим. Проскользну, промажу дорожку по траве и чуть не упаду. Бессильное увязание в досаде, дрызге. Подошва противно-скользящая, никак её не вытру. Запах свежего навоза особенно въедливый после дождя, когда ещё и комары повывлзут на мокрые голые ноги. И один совсем белёсо-рыжий, травяной, злочий вопьётся в коленку, где поверх ссадины зеленеет смазанный травяной след. Елозил по траве на коленках.

Над деревней сосновый бугор и за ним — поле. На бугор колеями в сухой полевой траве идёт дорога. Для меня всё важно: и тимофеевка, и лисохвост, которые показывает бабушка, и шишки, которые обязательно окажутся под спиной, если завалишься на спину под сосны. На жаре раскалённая палая хвоя пахнет особенно сильно, терпко. В кронах шумит морской ветер, и кажется, шум живёт в хвое, просыпается, завязывается сам по себе и, набрав силу, начинает прогонять через себя ветер. Верхушки сосен сбриты — бабушка каждый раз говорит, что за рекой стояла наша батарея и била по немцам. Дорога идёт дальше то по опушке, то по полю, и вдоль неё валяются разорванные гильзы от снарядов, похожие на кальмаров. Видимо, где-то рядом рванул боекомплект или склад. Никто не берёт их, не тащит на память, и они лежат частью местности, как придорожные камни. В некоторых местах на опушке — заросшие ямы от снарядов. Если по крепкому своему обычаю ничего не путаю, то нашли мы каску на краю поля с проржавевшим отверстием, с его дырчатыми ветхими кромками.

Был ещё на берегу на луговине неопрятный остов кирпичного домишки, старый рыхлый кирпич, побелевший, как из соляного раствора. Останец этот я тоже относил к войне, потому что она была кругом... От моего рождения до 45-го года только-только разлечься тринадцатилетнему мальчишке. А ес-

ли вытянуться — от пяток до кончиков пальцев на руках — то и в 44-й залезть. А таких, как я, пятилетних, двое улягутся.

За бугром поле поднималось к лесу, и в верете место, которое бабушка называла Хутор. Там когда-то стоял среди сосен дом Горчаковых, дяди Пашиных родителей. У них перед войной снимала на лето жильё бабушка с детьми, моей матерью и её братом. Дядя Паша с тётёй Дуней были ещё молодыми. У них были двое детей: Кланька и Витька. Витька играл со спичками и поджёл сеной сарай. Со страху он убежал в лес и спрятался, а все думали, что он горит в сене.

На Хутор мы ходили постоянно, как домой, хотя место было заросшее и почти ровное, даже ямы от подполья не помню. По краю росла земляника. А под соснами — кошачьи лапки, и мы там сидели с бабушкой. Иногда она брала с собой книжки и читала вслух.

В 1937 году дом на Хуторе сельские власти перевезли в Игнатьево. В 1941 году в районе Игнатьева шли страшнейшие бои. В дом Горчаковых попал снаряд, он сгорел, и дядя Паша отстроил глиночурочную избёнку, где они зимовили до постройки нового дома. Мы жили уже в новой избе, и дядя Паша при нас обшивал её тёсом.

Избёнка-глиночурочка между тем была замечательна: стены сделаны из чурок-тонкомера и поленьев, положенных поперёк, и стены выглядели, как кладка из треугольников и кругляшей на глиняном поле. Вид был очень исконный и, думаю, дом был теплейший.

Помню, на пороге этой избёнки стоял радиоприёмник дяди Пашиной молодой родственницы, может, той самой Клани, и на фоне этой глиняной стены с древними глазами-торцами вдруг раздалась песня “Эй моряк, ты слишком долго плавал”. Пела певичка с эстрадным подвизгом, с так называемыми синкопами, и мелодия казалась залихватски соборённой в одних местах и прореженной в других.

Хорошо помню, как дядя Паша заканчивал стройку, забирал углы досками и красил тёмно-зелёной краской. Мне очень нравился цвет и как дядя Паша работает. С детства я чуял породу всего рукотворного, и то, что делал дядя Паша, почитал за эталон. В завершение он выпилил и наличники, и покрасил зелёно с белыми завитками. Сам сруб тоже был забран дощечкой в ёлочку и крашен той же зелёной краской. Я думал, что тёсом называется как раз ёлочка.

Помню ещё картину: дядя Паша вытаскивает иголкой занозу — и мне диковинно, что он не ковыряет, а гладит плоско иголкой, будто выманивает, а заноза вдруг вылезает и топорщится, как зенитка или бревно, и что её вылезание тоже из области плотницкого дяди Пашина мастерства. Пахло от дяди Паши смесью опилок, какой-то заквасочной кислинки и пота — всё вместе давало непередаваемый и коренной мужицкий трудовой запах.

Что-то мужики делали возле нашего дома во дворе, не то варили, не то раствор месили, и я при них вертелся. Был там Сева, молодой парень из города в белом свитере с закатанным воротом. Он настолько рьяно участвовал, что загваздал свитер, и все его осаживали: “Сева, Сева! Ну, что же ты...” Был ещё бывалый, небольшого роста мужичок. Он меня привлекал, и в работе между трудовым побряхтыванием нет-нет, да и обращался ко мне. Я то ли напевал что-то, то ли бормотал, и он спросил, что это за бубнёж? Я отвечал, что сам с собой разговариваю, а он покачал головой: если будешь сам с собой разговаривать, то быстро “шарики за ролики зайдут”.

А для меня это обычное состояние — разговаривать под нос, напевать, куда-то брести неторопливо, тащить кусок доски или тянуть проволоку, закатанную в пыльную колею. Никогда больше не чувствовал я так деревенского умиротворения, как в те годы. Естественного счастья просыпания с утра. Постепенности распалющегося зноя. И как в жару вдруг начнёт дурниной блажить корова — переливом в октаву с короткого низа наверх. И как овечки, семена, перебегают крепким и кудрявым облачком, бляя на разные лады и твёрдо сыпя блестящим горошком. И снесшаяся курица вдруг заорёт, или петух найдёт съестное и закудахчет по-особому дробно, на одной гулкой ноте, сзывая куриц, и они побегут сломя голову. И особенно смешно

большие рыжие — размашисто орудуя ляжками и наклонив вперёд головы.

Или кину кусочек, чтоб курица видела, и наблюдаю. Вот она заметила и осторожно приближается, вот сделала шаг и сыграла взад-вперёд шеей, ещё шаг — и ещё раз туда-сюда сходила любопытная голова, будто приводком соединена с ногами. Курица на меня косится и поворачивает голову в несколько острых отрывистых движений. Я вижу светло-карий глаз, который смаргивает нижним веком, на долю секунды оказывается затянутым и получается дурашливое дохлое выражение. А потом кноёт хлеб и её гребешок трясётся, свешиваясь набок. А на проводе поёт ласточка-касатка, и бабушка говорит, что она в конце песни завязывает узелок. И надо всем этим вдали — безмятежно рокочущий трактор.

К вечеру стихает шум, медленно и тягуче проходит по деревне стадо, отдавая молочно-навозным чадом и слепнёвым гудом, звонко забрякает ботало на рыжей комолой корове... и снова тихо. Изредка ребятня где-то закричит. Телёнок замычит совсем по-детски. А потом слышно только, как дядя Паша отбивает косу в огороде. Чуть темнеет, стелется туманчик по луговине, и кричит вдали коростель, будто по огромной и пересохшей расчёске дерут гвоздём, или заводит кто-то резкие скрипучие часы.

Бабушка уже сварила на керосинке кашу, покормила меня, и я лежу на своей кровати, а она читает вслух “Как муравьишка домой спешил”, и нам обоим очень нравятся слова “Стой, а то укушу”. Насекомых я вообще люблю, и мне хочется превратиться в кузнечика и сидеть в травах, чтобы тимOFFеевка и лисохвост были высокими, как сосны. Читает бабушка и “Жизнь насекомых” Фабра с фотографиями. Ещё была книга “В стране дремучих трав”, на которую я питал большие надежды, но мне, пятилетнему или шестилетнему, она показала разочаровывающе-заумной.

Читали мы “Руслана и Людмилу”, “Сказку о Царе Салтане...”. И, конечно, повторялось бесконечно “У лукоморья дуб зелёный”, картины которого, не вмещаясь в детский кругозор, только сильнее поражали: как служит бурый волк царевне и как колдун несёт богатыря — особенно страшным казалось бессилье сильного. Да ещё и над лесами-морями. Принадородно...

Ещё была какая-то бабушкина своя ненаписанная сказка, начало которой она любила повторять — очень задумчиво, грустно и мечтательно: “Далеко-далеко за речкой...”.

Бабушка никогда не называла в одно слово “Москва-река”, “пойдём на Москвареку”. Всегда — Москва-река?. Летом вместо смытых лав стояли высокие свежешёлтые деревянные мостки. С них мы с бабушкой смотрим на воду. Течение несильное, глубина небольшая, желтоватое дно с крошкой известняка, длинные и волнистые водоросли, про которые бабушка говорит, что это волосы русалок. В оконце меж русалочьих прядей стоят рыбки, поигрывая тельцами. Для меня открытие, что у них такие узкие ножевые тельца и что рыбки держат их удивительно вертикально, не заваливают на бочок.

На берегу подходим к нашему знакомому, Григорию Максимычу, высокому пожилому дядечке в очках и чёрной шляпе. Он рыбачит спиннингом на тюколку (кораблик), и у него сидят в бидоне пойманные голавли. Я хочу подержать в руке голавлика, но чтобы обязательно в воде, и мне разрешают. Поначалу голавлик жалко вылый, и я ослабляю хватку, и он будто клонится на сторону, но вдруг мгновенно встаёт вертикально, и вильнув хвостиком, уносится, и меня снова поражает вертикальный постав рыбьего тельца. Никто меня не ругает, и от этого только стыднее.

Бабушка — речная душа. На море она была один раз в детстве и никогда не вспоминала. Не любила пляжное жаренье, курортный дух, жила среднерусскими речками и детства без них не представляла.

Бабушка хорошо плавала — волжская школа. Обычно детвора и женщины гребли по-собачьи, а бабушка имела свой стиль — что-то среднее между кролем и сажёнками. Сажёнки (её слово) не раз показывала, очень размашисто и как-то тягуче закидывая руку совсем через верх и кладя набок голову. Волосы у неё были русые и очень длинные, для купанья она их

укручивала вокруг головы, закалывала булавкой. Однажды очень огорчилась, посерьёзнела, замочив волосы, которые сразу потемнели. Стройная, очень белая, купалась в беззащитно розовом купальнике, набранном из мелких мешочков. В воду шла, напряжённо щурясь и вода по поверхности ругами, будто что-то перед собой разгоняя.

Любила утра и вечера, когда мы и купались, и мылись, а иногда и стирались. Хорошо помню стылое намыленное состояние и какую-то обязательную беспомощную и виноватую сутуловатость. И как плохо мылятся мыло, и хлопья уносит течением. А бабушка говорит, что вода жёсткая, и я не понимаю, как жидкое может быть жёстким.

Бабушка всё повторяла студенческую частушку: “Пошёл купаться Веверлей, // осталась дома Доротея, // на помощь пару пузырей // забрал он, плавать не умея”. Веверлей этот привязал пузыри близко к ногам, и голова оказалась “тяжеле ног, // она осталась под водою”. Вроде и смешная история, а осталась в памяти как часть вечернего, тягуче-грустного.

Тихими и задумчивыми были речные вечера. Боковое рыжее солнце с севом мелких лучиков, золотыми иглами совсем возле глаз. Комары, подлетающие неверным шатучим табунком. Я их шлёпаю, а бабушка говорит: “Ты одного убьёшь, а десять тебя укусят”. И я не понимаю, почему, если меня укусят аж десять, то шлёпать нельзя.

Редкая грусть подступала ко мне в такие вечера. Она будто не во мне рождалась, а в окрестности. Завязывалась и выводилась в особенно сырых, тихих местах, и только когда уляжется ветер, проливалась, стелилась туманами, серебряной росой садясь на подстывшую детскую душу.

Бабушка в то лето, как замороженная, бродила со мной по Хутору и его окрестностям. Там был тёмный и высокий ельник с запахом прели и грибницы. По нему шла дорога — две лиловые колеи, местами присыпанные сухими иголками. Неестественно зелёная и мясистая трава недвижно стояла промеж колеи и по обочинам. Было одно растение, похожее на глухую крапиву, с пахучими, дурманно-тошнотворными белыми цветами, небольшими не то башмачками, не то колокольцами. И с неряшливым переходом зелени от лепестков к цветам.

Однажды мы с бабушкой шли по этой дороге, и в тёмном её конце необыкновенно грустно кричала не то птица, не то зверюга. И мне представлялся имеющий ко мне таинственное и мучительное отношение лисёнок, будто олицетворяющий тоску потеряться.

Ходили мы и в дальние лесные края, к дубовым полянам, где собирали грибы, и где на одной, самой большой, была когда-то деревня и звалась Селиба. Мы с бабушкой любили это название и придумали с ним целое лесное городище, заселённое говорящим зверьём. Повествование о Селибе бабушка начинала с “И во-о-о-т...” До поворота к полянам мы шли по линии электропередач, с которой падал механический мёртвый стрёкот, очень нелюбимый бабушкой. Потом сворачивали направо. Как-то на обратном пути, выйдя на линию электропередач, бабушка закрутилась и двинулась не в ту сторону. Я настоял, что не туда, показал правильно, и бабушка всем рассказывала, как я её вывел. И что чувствую направление.

Направление я и впрямь чувствую — и тем сильнее, чем очевидней творимое с Россией. Чутью этому полностью обязан я бабушке, хотя в те далёкие годы, несмотря на хваленую чуткость, ухитрялся быть и противным, и вредным.

Не торопясь подхожу к крапиве и, поглядывая на бабушку, намереваюсь за неё взяться. Бабушка предупреждает: “Нельзя крапиву, она кусается”. Я гляжу нагло бабушке в глаза и, раскрывая пятерню, нацеливаю на крапиву. Бабушка снова: “Нельзя. Она кусается”. Я торжествующе смотрю на бабушку и медленно-медленно сгребая-комкаю шершавый зубчатый лист. По мере комканья глаза мои расширяются, краснеют, но, так же глядя на бабушку, я выдерживаю фазон и не расхныкиваюсь, — по словам бабушки, исключительно из вредности и упрямства.

Или вдруг начинаю нудить, въедаться, цепляться к словам, пытаться на

оттенки. Бабушка, по-утреннему бодрая, добродушная, спрашивает миролюбиво:

— Мишастый, а ты помнишь, как ночью петухи пели?

— А как они пели?

— Нет, ну, ты помнишь, что они пели?

— А что они пели?

Точно знаю, мало нас драли в детстве. Отец рассказывал для острастки, как его дед, дед Макар, за столом брал деревянную ложку и этой ложкой будто бы всем давал по лбу и что детей якобы драли по субботам розгами независимо от того, набедокурили они или нет. Я понимал профилактическую нотку этих баек и резон всыпать впрок, потому что детвора обязательно что-нибудь нашкодила втихую. Никто мне ложкой в лоб не бил и не драл по субботам ни ремнём, ни розгами. Бабушка, правда, иногда брала хворостину (её выражение), но применяла изредка и больше пугала. Или “всыпала полотенцем”.

Однажды у меня сильно вступило в живот. Поднялся жар, замутило-зазнобило, и понесла меня бабушка на закорках в Техникум, в больницу, через качающиеся мостки. Эта картина, пожалуй, одна из сердцевинных, и главное в ней — чувство бабушки, её родной выручающей силы, помноженной на сказочную природу старинных закорок. В обострённой беспомощностью головёнке каким-то несдавшимся краешком я ощущал нателную близость этого слова, вмещавшего в себе и жужелицью “прыгай ко мне на закорки”, и Машенькино сиденье на медвежьей спине в корзине, а главное — абсолютность работы всего этого бабушкиного мира. Качаются мостки, несёт меня бабушка мимо русалочьих волос, мимо стоящих стойком рыбок, ещё недавно таких ценных, а теперь бессильно далёких, отчего мне ещё тошнее. Наконец мы сходим на берег, и меня начинает так мутить, что я кричу бабушке “Стой!” Она идёт, я снова канючу: “Бабушка, стой!” Она идёт. Тогда я простанываю наше любимое: “Стой, а то укушу!” И бабушка умиляется и спускает меня на землю. Потом снова закорки и, наконец, больница и полумрак кабинетика, холодная, в клеёнке койка, и маленькая пожилая докторша щупает “животик” и говорит, что аппендицита нет.

Кровать, с которой я то наблюдал утреннее солнце, то пугался уличных тресков, куда-то перенесли, и я остался без логова. Бабушка, не моргнув глазом, спила матрасовку, а потом взяла серп, и мы пошли за заборы в низинку жать траву. Бабушка жала осоку и рассказывала о старинной силе серпа, показывала, как режется осока, и учила с ней обращаться. Покос она собрала в мешок, высушила возле дома и набила им матрас. Потом мы сходили в лес и притащили сухих ёлочек, из которых она сделала козлы. Пилила ножовкой, коленом сквозь платье придавив жердину, колотила молотком гвоздь... Хорошо представляю, как трудно шёл он сквозь сухую сучкастую ёлку, как загибался возле сучка. Натянула на козлы мешковину, прошила мешочной иглой. Постелила простынь, положила подушку и сказала: “Вот тебе кровать!”

Сладко спал я в этой холстинной зыбке, в запахе сена! Под охраной нешкурёной ёлки, сухой осоки... И бабушка лежала рядом на своей раскладушке и наверняка в полутьме смотрела на меня, спящего в козлах. А когда я заснул, вышла под звёзды покурить.

А меня держали в ладнях высохшие ёлки, пеньковая холстина, трава, а я покачивался во сне, ворочался, и поскрипывали не то козлы, не то мостки, по которым бабушка несла меня на закорках в больницу. Ярче светили зрелые летние звёзды, отражаясь в воде. Рыбки подошли к бережку и стояли сонным табунком повдоль русалочьих прядей. А в осоке старательно кричал коростель, и кони перепрыгивали по росе спутанными ногами.

Бабушка оставалась бабушкой, а дружки мои с ребятишками шли своим чередом. Неспешно и природно перетекали мы из одного куска деревни в другой. То дружу с Бельскими ребятишками в нижнем конце. Там навесик на песке, и мы сыплем песок в бутылки, а самый старший мальчишка

отлично разбирается, где из-под водки бутылка, где — из-под “Солнцедара”. Ребячьих имён я не запомнил, высыпались они из памяти во время беготни, возни следующих лет.

Ещё ходил в верхний конец деревни, где перед оврагом был свой пятючок жизни, и жило семейство, видимо, тоже дачники-съёмщики и их мальчишка, худенький, но со своим строем, книжным, лирически-манерным. Печально поведал, что у него был друг, которого он мне, наконец, решил показать, и повёл к ямке, где лежала похороненная птичка. Какая-то будто настоящая, похожая на механическую, жёлтая, с синими и красными пятнышками.

К ним приехала целая компания родственников, и мой знакомый сказал, что надо подойти к его старшему брату, протянуть руку и сказать: “Михаил. — Как это? — А так. Дашь руку: Михаил. Понял?” Я сказал: “Понял” и всё выполнил, но на старшего брата это никакого впечатления не произвело. А бабушка сказала, что самому руку совать невежливо, и надо дожидаться, пока старший тебе сам сунет, если вообще захочет с тобой здороваться.

Во главе со старшим братом и одной девчонкой-коноводкой собралась компания, и меня позвали на травку играть в какую-то “Акулину — Красный Нос”. Дали карты. Я рассеянно и замороженно взял их и, пребывая в каком-то восторженном мареве, ничего не понимая, продул игру, и все радостно закричали, что я Акулина — Красный Нос.

Наискосок от нашего дома метров двести-триста жила Маринка. Выходила с большущим куском чёрного хлеба, обильно намазанного земляничным вареньем, и несла его аккуратно, выдерживая плоскость, хотя могла споткнуться и шмякнуться.

С Маринкой мы то не видимся, то начнём ходить не разлей вода или сидим на лесах соседнего сруба и разговариваем. Она жила в небольшой избёнке с отцом и матерью, которых я почему-то никогда не видел. Потасцился, помню, за Маринкой, а она целенаправленно домой и в дверь. И видно, сама в себе замелась и меня не заметила, или наоборот — решила: пусть за мной побегает. В общем, нацелился я за ней из сенок в избу, а она захлопывает дверь перед самым моим носом. Дверь плотная, утеплённая на зиму и такая пристоявшаяся в косяках до полной притирки.

Дверь почти захлопывается, когда я сую в неё большой палец. Кровища, ноготь с ошмётком в красном сочащемся окладе... Бегу домой, реву, трясётся челюсть и рёв тоже трясётся, особенно отзываясь на ямку или кочку. Несу палец, по ноготь заполненный болью, боюсь страсти, пролить, как будто, если сберегу до бабушки, то не так будет больно. Бабушка выходит на вой и идёт навстречу... И говорит про солдат на войне, как им, раненым, больно, и они не плачут, и про Суворова, как их учил: “Трудно в ученье — легко в бою”. И вот уже бинтует и рассказывает, как Суворов ходил через Альпы.

А потом душная настала жара, и будто единым с ней маревом накрыло нас общедеревенской новостью: Маринкин отец напился пьяный и застрелил мать “лосиной пулей”. Лосиная эта пуля, конечно, была бабьим измышлением. Но особенный какой-то смысл имела и будто брала на себя часть вины, несмотря на звучащее в ней лесное, таинственно-охотничье. Отца Маринки я не знал и представлял как огромного звероподобного мужика. Очень хорошо помню чад беды, который, как дым лесного пожара, замутил и приглушил солнце, прижёл листву, и я чувствовал, как жар охватывает голову, и я болею вместе с округой.

Совсем недавно узнал, что девочку звали не Марина, а по-другому. И что, когда мама шла к нам с автобуса, маленький мужичок лежал со связанными руками в канаве рядом с их домишком. Они были в гостях, он напился и зря приревновал жену. Побегал домой за ружьём и там её застрелил. Его посадили в тюрьму, а девочку взяли родственники.

Больше ничего не знаю об этом событии. Дальше сама собой нашла новая полоса: ребятами постарше нарыли за огородами в заросших окопах потемневшие пулемётные ленты, в зелень заплесневевшие гильзы, и мы долго жили раскопками, и бабушка еле дозывалась меня на ужин.

Бабушка любила керосинки и отвергала керогазы, как опасные, будто бы взрывающиеся, ну и дорогие. Керосинки были двух типов: попроще — двухфитильные, высокие, и подороже, сытого вида, кастрюлеобразные, с тремя фитилями и тремя иллюминаторами. У нас была простая двухфитильная. До сих пор помню запах керосинного чада и подгоревшего молока — домашнюю смесь. И крик: “Мари-Ванна, у вас керосинка коптит!” И как в квадратном закопчённом оконце мечется чёрный язык. Бабушка говорила, что оконце сделано из слюды и что слюда — это минерал, и я не понимал, как камень превратился в мягкое стёклышко.

Вечер, ноет комар. Я лежу с книжкой и смотрю картинки: синее море с чешуйчатой волной и барашками. Белая лебедь и злой коршун, пронзённый стрелой... Или представляю, как над лесами, над полями *колдун несёт богатыря*, и меня возмущает и гнетёт, что богатырь ничего не может поделать. Бабушка собирается варить кашу. Отщёлкивает зажим, откидывает высокую двойную ногу, под которой две расселины с фитилями, зажигает. Загораются, чадя, две полосы, бабушка тушит спичку о воздух, закрывает ноги и ставит кастрюльку — алюминиевую с длинной ручкой и вмятиной. Когда она мне показывала Большую Медведицу, я представлял похожую кастрюльку.

Кроме манной и овсяной каши, бабушка варила на керосинке толокно, видимо, ячменное. Кипятила молоко, чтоб не прокисло. Молоко я пил и парное, и кипячёное, и любил пенки, которые остальные дети терпеть не могли, а бабушка меня ставила в пример. Простоквашу помню с розовым сметанным верхом, чуть шершавым и будто плесневелым, бабушка снимала его в кружку. И взболтанную, ледово-кускастую простоквашу в зеленоватой банке — мы пьём её в жару. Простоквашу бабушка откидывала в марлю и вешала на гвоздик над кастрюлькой. Сыворотка капала к кастрюлю, кулёчек покручивался и менял тон капли. Комок творога был потом в мелкую сетку и у верхушки с отпечатками складочек от марли. Но моя любимая еда — щавелевый суп с разрезанным яйцом и сметаной. И жареные лисички с картошкой. По редким случаям бабушка варила какао — со смуглой пенкой в морщинках.

За столом бабушка рассказывала про генерала Тучкова. Что будто его спросили, куда наклонять тарелку, когда доедаешь суп, а он отвечал: мол, если хочешь облить себя, то на себя, а если соседа — то на соседа. И про генерала Горчакова тоже что-то говорила, и я был уверен, что и Тучков, и Горчаков связаны со станцией Тучково и с Горчаковыми, у которых мы живём. И что это не совпадение, а специальное устройство жизни, и одобрял, как всё по-хозяйски сделано, — чтобы под боком.

Едва не забыл: на керосинке бабушка варила земляничное варенье с розовой пенкой, которую мазала мне на чёрный хлеб, и я бежал с ним по деревне.

Керосин привозила керосинная лавка — зелёная машина с цистерной. Останавливалась она рядом с нашим домом.

Если вся деревня собиралась с бидончиками по керосин, то мне нужна была машина сама по себе. Да и не удивительно: “ГАЗ-53” тёмной армейской зелени, обвешанный шлангами, и запах — богатейшая смесь бензина и керосина. Во взваленной на спину цистерне, её наклоне назад я видел что-то боевое, одушевлённое, и машина вздымалась надо мной, как зверь, Конок-Горбунок или гонец не то из будущего, не то вовсе из завремениа.

Я стою совсем рядом с цистерной. Идёт какая-то неотвратимая возня, ходит-хлопочет со шлангом шофёр — невысокий, молодой, в чём-то чёрносером и серой же кепке.

И тут случается непредвиденное. Видимо, я настолько верно и замороженно смотрю на машину, что он меня хватает и, вздымая к небесам, сажает на цистерну лицом по ходу перед открытым люком, где лилово и матово блещет керосин. И суёт мне в руку пистолет со шлангом, который велит опустить в горячее. До сих пор не могу понять, почему я совал в горловину пистолет, хотя по логике он должен быть с другой стороны шланга. Не помню. Может, чтобы заполнить шланг, поменять концами и пустить керосин

самотёком? Скорее всего, я опять что-то напутал, а потом склеил на своё усмотрение.

Сию на бочке и понимаю, что все на меня смотрят и что я отвечаю за что-то немисливо важное. Очень хорошо помню и шланг, и пистолет — алюминиевый, и сам его ствол, и ручку со спуском. Всё очень большое, настоящее, из мужицкой жизни, железной, бензинной. И отношусь я к этому подчинительно, потому что всё происходящее сильнее, быстрее меня, и я даже не знаю, где бабушка.

Водитель залезает в кабину и решительно, безнадежно-обрубаяще захлопывает дверь. От этой хлопающей двери я холодею. Закрывшись, водитель заводит двигатель, и тот очень громко и натужно начинает работать. И тут я во весь рот взываю. Оттого, что через секунду машина рванёт куда-то “далеко-далеко за речку”, что, промчавшись по нашей улице, разгонится на спуске, взлетит и понесёт меня “через леса, через моря” перед народом, и я буду еле держаться за люк с этим пистолетом, и где-то далеко внизу будет удаляться наша улица, толпичка бабушек — среди них мою будет не различить...

Водитель выскочил и бросился меня снимать. А я, продолжая вопить и деревянно тянуть руки, с первой доли секунды понял, каким позором оборачивается эта спасительность и что надо было выдержать, вытерпеть, выдюжить... Что неспроста так натужно зудел мотор и что шофёр какой-то насос включал. И что я не только подвёл водителя, увидевшего во мне помощника и товарища, а прошляпил поступок.

Потихоньку кончалось лето. Ближе к осени, по мере обострения далее ещё сильнее манила дорога за Хутор на Томшино?, которое я считал Тамшиным. И это Тамшино с очарованным “там” звучало особенно таинственно и несбыточно. А даль потихоньку жухла, и вспомнилось, что рано или поздно ехать в город, где тоже жизнь осталась, и я начинаю канючить:

— Бабушка, когда мы поедем в Москву-у-у?

А бабушка говорит чуть грустно и певуче:

— Когда вот тот дальний лес пожелтеет...

И в том, что пожелтеть должен именно дальний лес, я вижу смысл, печаль и тайну. То ли даль имеет лучшую пропитку от осени, чем ближние берёзы. То ли бабушка перевязана с этой далью тонкими и ноющими струнами, нитями осенней паутины. И не узнать, для меня оно сказано, или и впрямь бабушкину душу разрывало тоской по времени и дали.

По утрам я выхожу из дома и смотрю, как пожелтел дальний лес, насколько пятнист переход из зелени в желтизну. Лес потихоньку берётся золотом, и всё резче контраст меж светящимися берёзами и тёмными соснами.

Мы, наконец, уезжаем, но если весеннюю дорогу в Игнатьево я помню прекрасно, то ни штришка не осталось в памяти от нашего возвращения... И уже идём по Щипку — вокруг бензинный чад, грузовые машины шумно набирают ход, и голуби взлетают из-под ног, хлопают крыльями. Первый день проходит, второй, и я снова не могу заснуть и плачу:

— Бабушка... Хочу в дере-е-е-вню...